



ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ КОРЕЙЦЕВ: ТРАВМА ДЕПОРТАЦИИ

Ирина Борисовна Фан

Институт философии и права УрО РАН
16 ул. Софьи Ковалевской, Екатеринбург, Россия
Irina-fan@yandex.ru

Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей коллективной памяти российских корейцев о депортации 1937 г. Цель автора — содержательный анализ смысловых и социально-психологических аспектов памяти о депортации у разных поколений корейцев, характера переживания ими исторического опыта, степени рефлексии, а также влияния памяти на их социальное самочувствие и определение идентичности. Методологическая основа исследования — теории культурной травмы Дж. Александера, коллективной памяти Р. Айермана, исторической памяти А. Ассман, структуры этнической идентичности В. Шнирельмана. Метод эмпирического исследования — глубинное биографическое интервью. В результате выделены смысловые аспекты памяти о депортации у разных поколений корейцев: травма несвободы, утрата идентичности, декапитализация опыта предков, склонность к конформизму и лояльности действующей власти, избегание критических оценок депортации и ее последствий. Обоснована необходимость всесторонней проработки социальной и культурной травмы сообществом корейцев. Статья базируется на полевых материалах — интервью с представителями трех поколений российских корейцев, проведенных автором в 2020 г. в Екатеринбурге.

Ключевые слова: российские корейцы, депортация, коллективная память, социальная травма, культурная травма, идентичность, государственная (национальная) политика памяти.

Благодарности: Исследование проводится при поддержке Программы фундаментальных и прикладных научных исследований «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссийской идентичности», 2020–2022 гг. (проект «Общественное согласие в России и конструирование гражданской идентичности как способ его достижения», рук. академик РАН В.Н. Руденко).

Для ссылок: Фан И. Особенности коллективной памяти российских корейцев: травма депортации // Антропологический форум. 2022. № 52. С. 133–158.

doi: 10.31250/1815-8870-2022-18-52-133-158

URL: <https://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/052/fan.pdf>

FEATURES OF THE COLLECTIVE MEMORY OF RUSSIAN KOREANS: TRAUMA OF DEPORTATION

Irina Fan

Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of Russian Academy of Sciences
16 Sofyi Kovalevskoy Str., Yekaterinburg, Russia
Irina-fan@yandex.ru

Abstract: The article is devoted to the study of the peculiarities of the collective memory of Russian Koreans about the deportation of 1937. The author's goal is a meaningful analysis of the semantic and sociopsychological aspects of the memory of deportation among different generations of Koreans, the nature of their experience of historical events, the degree of reflection, as well as the influence of memory on their social well-being and definition of identity. The methodological basis of the research is the theory of cultural trauma of Alexander, the conception of collective memory of Eyerman, the historical memory of Assman, and the structure of ethnic identity of Shnirelman. The method of empirical research is an in-depth biographical interview. Results: features of the collective memory of Russian Koreans were revealed; semantic aspects of the memory of deportation among different generations of Koreans are highlighted: the trauma of a lack of freedom; loss of identity; the decapitalization of the ancestral experience; a tendency towards conformism and loyalty to the current government; avoidance of critical assessments of deportation and its consequences. The necessity of a comprehensive study of social and cultural trauma by the Korean community is substantiated. The article is based on field materials—interviews with representatives of three generations of Russian Koreans, conducted by the author in 2020 in Yekaterinburg.

Keywords: Russian Koreans, deportation, collective memory, social and cultural trauma, identity, state (national) memory policy.

Acknowledgements: The study is supported by the Program of Fundamental and Applied Scientific Research "Ethnocultural Diversity of Russian Society and Strengthening the All-Russian Identity", 2020–2022 (project "Public Consent in Russia and the Construction of Civic Identity as a Way to Achieve It" headed by V. N. Rudenko, Russian Academy of Sciences).

To cite: Fan I., 'Osobennosti kolektivnoy pamyati rossiyskikh koreyts'ev: travma deportatsii' [Features of the Collective Memory of Russian Koreans: Trauma of Deportation], *Antropologicheskij forum*, 2022, no. 52, pp. 133–158.

doi: 10.31250/1815-8870-2022-18-52-133-158

URL: <https://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/052/fan.pdf>



Ирина Фан

Особенности коллективной памяти российских корейцев: травма депортации

Статья посвящена исследованию особенностей коллективной памяти российских корейцев о депортации 1937 г. Цель автора — содержательный анализ смысловых и социально-психологических аспектов памяти о депортации у разных поколений корейцев, характера переживания ими исторического опыта, степени рефлексии, а также влияния памяти на их социальное самочувствие и определение идентичности. Методологическая основа исследования — теории культурной травмы Дж. Александра, коллективной памяти Р. Айермана, исторической памяти А. Ассман, структуры этнической идентичности В. Шнирельмана. Метод эмпирического исследования — глубинное биографическое интервью. В результате выделены смысловые аспекты памяти о депортации у разных поколений корейцев: травма несвободы, утрата идентичности, декапитализация опыта предков, склонность к конформизму и лояльности действующей власти, избегание критических оценок депортации и ее последствий. Обоснована необходимость всесторонней проработки социальной и культурной травмы сообществом корейцев. Статья базируется на полевых материалах — интервью с представителями трех поколений российских корейцев, проведенных автором в 2020 г. в Екатеринбурге.

Ключевые слова: российские корейцы, депортация, коллективная память, социальная травма, культурная травма, идентичность, государственная (национальная) политика памяти.

Дискурс об этнических депортациях, одном из видов политических репрессий, существует в сегодняшней России на периферии общественного внимания. Однако данная тема имеет прямое отношение к нынешнему социальному самочувствию российских корейцев, поскольку связана с проблемой исторической памяти. Память же как основа индивидуальной и коллективной идентичности является процессом селекции фактов в зависимости от интересов субъекта памяти и влияющих на него объективных и субъективных факторов. Процессы реинтерпретации прошлого, бушующие сегодня «войны памяти» порождаются столкновением актуальных интересов разных социально-политических субъектов и создают угрозы диффузии для идентичности социальных групп. В этой связи значимым для нас стал вопрос, как именно проявляется травма депортации 1937 г. у нескольких поколений российских корейцев.

В результате распада СССР началась массовая трудовая миграция в Россию. В городах возникли иммигрантские сообщества, обострилась проблема выстраивания отношений между ними и местным населением

Ирина Борисовна Фан
Институт философии
и права УрО РАН,
Екатеринбург, Россия
Irina-fan@yandex.ru

[Борисов 2007]. В 2000–2010-е гг. в России фиксируется рост враждебности по отношению к иммигрантам из бывших союзных республик, особенно из Средней Азии и Закавказья. «В сложившихся условиях миграции из бывших инокультурных окраин в бывший имперский центр создают условия для широкого распространения расизма и ксенофобии, которые становятся частью компенсаторного, “оборонительного” сознания населения экс-метрополии, переживающего распад имперского пространства» [Паин, Федюнин 2018: 176]. Националистические или расовые идеологии возникают в результате рационализации страха перед Чужаком (Другим, Иным). Истоки неорасизма в сегодняшней России восходят к противоречиям советской идеологии и практики в отношении этносов. Коммунистическая политика включала дискриминационные и расистские практики: национальность в советском паспорте и функционирование паспортной системы в СССР [Байбурин 2009], иерархия народов с неравными политическими статусами, позволяющая депортировать народы [Шнирельман 2013: 112], практики социального исключения, опирающиеся на биологические или культурные отличия этнических групп [Малахов 2013: 120]. Расизм проявляется в отказе какой-то этнической группе в доступе к тем или иным социальным ресурсам, обосновываемом фенотипом данной группы. Неорасизм, несмотря на новую риторику — термины «популяция» или «культурные сообщества» вместо «рас», воспроизводит логику классического расизма. Акцентируя биологические и иные различия социальных групп, редуцируя культурные различия к «биопсихическим», неорасизм создает почву для конфликта между различными группами. Многие индивиды и социальные группы в нынешней России испытывают чувство инаковости, чуждости большинству населения. Это чувство — обратная реакция людей, обладающих отличиями, на восприятие их доминирующими социальными группами. Все это делает актуальной проблему изучения особенностей травмированной памяти российских корейцев о депортации, влияния памяти на их социальное положение и самочувствие в настоящее время.

Для изучения степени рефлексии респондентов над историей семьи и общности, их субъективных оценок исторических событий использовался метод глубинного биографического интервью. Был разработан авторский инструментарий — сформулированы исследовательские вопросы, перечень тем глубинного интервью (история семьи, личная биография, влияние депортации на жизнь). Опрошенные — корейцы, оказавшиеся в Екатеринбурге в результате двух «волн» переселения из мест депортации. Первую «волну» составляют дети депортированных, переехавшие в Россию в 1950–1960-е гг. в целях получения

высшего образования и оставшиеся здесь. Вторую «волну» представляют внуки и правнуки депортированных, переехавшие в Россию после распада СССР (с 1991 г. по настоящее время). Корейское сообщество в Екатеринбурге включает граждан РФ и недавних иммигрантов, находящихся в процессе получения гражданства РФ. По данным последней переписи, в России насчитывается 153 тыс. корейцев, в Екатеринбурге их около 2000 человек. Всего было проведено 22 интервью, каждое из которых длилось от 2 до 3,5 часов. Выборка осуществлялась так, чтобы люди были в равной степени представлены по полу, возрасту (поколениям), уровню образования, социальному статусу. Опрошено 14 женщин, 8 мужчин, из них 8 человек из второго поколения (дети депортированных), 8 человек из третьего и 6 — из четвертого поколения. Два человека из второго поколения, мужчина и женщина, — лидеры общественной организации «Национально-культурная автономия (НКА) российских корейцев» Екатеринбурга.

Исторический экскурс

Эмиграция корейцев в Россию началась после заключения русско-китайского Пекинского договора (1860), включения Уссурийского края в состав Российской империи и утверждения Александром II «Правил для поселения русских и инородцев в Амурских и Приморских областях Восточной Сибири» (1861). Первая группа корейских переселенцев — 14 семей (60 человек обоего пола) — перешла границу и в январе 1864 г. основала в Приморье первую корейскую деревню Тизинхэ. Российские чиновники оценивали корейцев как полезных для империи земледельцев [Цой 2003: 130]. К 1917 г. в России проживало уже около 100 тыс. корейцев. Только в Приморской области насчитывалось 81 825 корейцев, составлявшие 30 % населения всего Приморья. Из них подданными России были 32 841 человек [Пак, Бугай 2004: 130]. В годы Гражданской войны корейцы воевали на стороне большевиков в партизанских отрядах. Поначалу советская власть поддерживала корейцев, но позже усилилось подозрение к ним как «почти японцам», поскольку Корея была японской колонией. Иммиграция корейцев прекратилась в 1930 г., когда границы России с Кореей и Китаем были полностью закрыты.

Секретное постановление Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) № 1428-326сс «О выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края» 1937 г., подписанное И. Сталиным и В. Молотовым, обосновывает депортацию корейцев так: «В целях пресечения проникновения японского шпионажа в Дальневосточный край» [Цой 2003: 168].

Значит, депортация корейцев рассматривалась как превентивная мера. Этим на этническую группу корейцев был навешен ярлык потенциальных шпионов и предателей. Из воспоминаний Хван Сын-Гера, мужчины, 1925 г.р., выселенного из Приморья в Казахскую ССР: «Иногда на разъездах эшелон останавливался, и мы видели, как под наблюдением работников ОГПУ прямо у железнодорожных путей хоронили тех, кто умер в пути. К станции назначения прибыли утром 25 октября и выгрузились почти на голом месте. Это был старинный казахский аул. Но люди покинули эти места из-за нехватки питьевой воды, и теперь дома стояли ветхие <...> В ту зиму не было в нашей деревне семьи, которая не похоронила бы пожилого человека или ребенка» [Цой 2003: 183]. В процессе переселения и за семь лет жизни в выселенных местах численность корейцев сократилась на 30 %, т.е. на 50 тыс. человек: 172 тыс. корейцев было депортировано осенью 1937 г., в апреле 1945 г. органы безопасности СССР насчитали 123 тыс. корейцев. Основную массу корейцев переместили в Узбекскую и Казахскую ССР. За первую зиму умерло много стариков и детей, в том числе треть всех грудных младенцев [Цой 2003: 126, 167]. По данным переписи 1959 г., в Узбекистане проживало 44,1 % всех советских корейцев, в Казахстане — 23,6 %. Ко времени распада СССР «советские корейцы» стали «корейцами СНГ» [Цой 2003: 128]. Реабилитация корейцев проходила в 1953–1957 гг.: были отменены ограничения на службу в армии, разрешен переезд за пределы Центральной и Средней Азии. Но попытки восстановить территориальную автономию были жестко пресечены. До 1991 г. сохранялись ограничения в продвижении по службе и занятии руководящих должностей.

Исторический и политический анализ процесса депортации не закончен, поскольку не объяснены многие противоречия, стереотипы и «мифы» в данных об этом событии. Более полувека тема насильственного форсированного и тотального переселения дальневосточных корейцев в Центральную и Среднюю Азию и ряд районов РСФСР оставалась под запретом. Лишь после 1991 г. историки пришли к выводу, что депортация была логическим завершением национальной политики Российской империи и режима И. Сталина [Ким 2013: 53]. Не до конца осознаны экономические, демографические, социальные, культурные и психологические последствия депортации. Не проработана социальная и культурная травма, нанесенная корейцам. Не состоялось ни юридическое, ни моральное осуждение должностных лиц, ответственных за это преступление. Не выработаны меры принятия трагического прошлого всеми сторонами.

Проблема влияния коллективной памяти и травматического опыта той или иной этнической группы на социальное само-

чувствие и формирование идентичности последующих поколений имеет разные измерения и носит междисциплинарный характер. Ее исследование должно включать анализ демографических, политических, экономических, культурных последствий травмирующего события, а также рассмотрение социально-психологических и культурных механизмов передачи травматического опыта от поколения к поколению. Синтез аспектов проблемы, по нашему мнению, достигим в рамках социальной антропологии, даже в ситуации дискуссионности определения этой науки в российских условиях [Соколовский 2012]. Факты нескольких волн политических репрессий в отношении корейцев, включая уничтожение корейцев — партийных руководителей, офицеров, корейской секции Коминтерна, большинства корейцев, имевших высшее образование, а также тотальную депортацию 172 тыс. корейцев из нескольких районов Дальнего Востока в 1937 г., подтверждены документально и описаны в исторической и иной литературе [Бугай 2000; Полян 2001; Пак, Бугай 2004; Сталинские депортации 2005: 37–38; 80–98; Гентшке 2011; Хан 2009; Ким 2013]. Собраны воспоминания очевидцев данных событий [Цой 2003: 166–190; Кан 2010]. Имеются документальные фильмы о депортации корейцев, например фильм Вадима Кима «Депортация». Представлен анализ дискурса о депортации других этносов [Гучинова 2002]. Есть труды, основанные на изучении архивов, где содержится полный перечень «наказанных народов», описывается эволюция спецпоселенческой системы в СССР, статистика потерь, демографические («гигантское отрицательное сальдо между рождаемостью и смертностью») и иные последствия депортаций [Земсков 2001; 2005].

Проблема межпоколенческой передачи опыта переживания травмирующего события анализируется в рамках семейной психотерапии, ориентированной на культурно-исторические исследования [Бейкер, Гиппенрейтер 2005]. Однако недостаточно исследована проблема соотношения психологической динамики переработки травматического опыта личностью и обществом. Даже в рамках одного этноса идентичность оказывается неоднородным феноменом, так как реакция на травматическое событие может быть разной. Идентичность складывается из различных диалогически ориентированных идентификаций, это сложный внутренний диалог личного самосознания с окружающим миром и проекциями этого самосознания на различные социальные и культурные группы людей [Бурлакова 2016]. Отсутствуют исследования о том, каким образом память о депортации влияет на индивидуальные биографии и истории корейских семей. По моему мнению, целостное понимание проблемы и ее решения возможно на пути объединения и сравнения

эмпирических данных — опыта переживания травмы российскими корейцами и иными этническими группами в России и других странах. Также необходимо включение результатов эмпирических исследований в концептуальные рамки ряда теорий. Методологическую основу нашего исследования составили теории культурной травмы [Александр 2013], коллективной памяти [Айерман 2016], исторической памяти и ее роли в построении культурных и политических идентичностей [Ассман 2014], методологии истории, сути государственной национальной политики в СССР, понятия и структуры этнической идентичности [Шнирельман 2003]. Не претендуя на полную реализацию задачи синтеза подходов и дисциплин в решении искомой проблемы, попытаемся двигаться в данном направлении. Наша задача — исследовать особенности и характер влияния социальной и культурной памяти о депортации на разные поколения корейцев, поскольку именно память организует и структурирует ценностно-мотивационную сферу людей, их самосознание, определяя социальное, экономическое и политическое поведение и идентичность.

Воспоминания о депортации

С воспоминаниями поколения корейцев, переживших депортацию 1937 г. взрослыми людьми, в настоящее время познакомиться можно лишь по письменным источникам. Из интервью корейцев, родившихся в 1937–1950 гг. в местах поселения:

Мои родители были простыми крестьянами, жили они в Приморском крае, но родились они в Корее. В 1937 г. они были депортированы в Ташкентскую область Узбекской ССР. Там создали небольшой колхоз. Отношение к депортации у всех было одно: старшее поколение сорвали с обжитых мест. Мы родились уже в Средней Азии, все окружающее воспринимали как должное [ПМА, муж., 1942 г.р., родители переселены из Приморья в Узбекскую ССР].

При переселении в каждый вагон, предназначенный для перевозки скота, размещали по несколько семей из одного поселка в Приморье. На остановках люди ходили за водой и кипятком. Когда поезд прибыл на место, переселенцев высаживали поселками и вагонами в одно место. Это стало спасением для выживания переселенцев. Родные со стороны матери оказались в Ташкентской области, родные отца — в Самаркандской области. В холодное время не хватало одежды и обуви, приходилось обматывать ноги соломой и тряпками. В Приморье корейские семьи оставили дома, хозяйство, имущество. От холода, голода, вымирания спас климат Средней Азии. Осень-зиму пережили в глинобитных постройках. С весны 1938 г. начали стро-

ить дома. Крыши крыли из соломы, полы оставались земляные. Земли корейцам дали на левом берегу реки Чирчик, где сплошь были камышовые заросли. Корейцы все это выкосили, построили ирригационную систему, создали колхозы. Работали за трудодни, денег не видели. К 1960-м гг. эти хозяйства превратились в 20 богатейших колхозов [ПМА, жен., 1950 г.р., родители переселены из Приморья в Узбекскую ССР].

Таковы воспоминания детей того поколения корейцев, социализация которого проходила в условиях «победного шествия советской власти» по Дальнему Востоку при активном участии корейцев в колхозном движении, в укреплении партийных и комсомольских рядов, а позже в их «чистке». Родители этих детей восприняли депортацию сквозь призму советской пропаганды. Ни столкновение с репрессиями и депортацией, ни события «оттепели» не привели большинство корейцев к правдивой оценке действий власти. Социализация и жизнь детей депортированных также протекала в условиях «незыблемости» советского строя и монополии коммунистической идеологии. Оценку потерь в результате государственного террора корейские интеллектуалы осуществили лишь в период перестройки и в 1990-е гг. Приведем воспоминания поколения корейцев, родившихся в 1960–1980-е гг., внуков тех, кто пережил депортацию.

Дед и бабушка по линии отца жили в Приморье в районе Уссурийска. Дед был кадровым офицером, бабушка домохозяйкой. В первый год войны дед ушел на фронт и вскоре погиб. Депортация была осуществлена в начале войны. Переселяли от границ. Корея рядом. Но так же поступали с немцами, поляками и другими. Тасовали, чтобы оторвать от границ. Бабушку с четырьмя детьми, оставшуюся без мужа, погрузили в товарный вагон и депортировали в Казахстан. Выжили не все, двое детей в дороге погибли. На месте их с тремя мешками скарба выгрузили на голую землю и оставили [ПМА, муж., 1960 г.р., м.р. Казахская ССР].

О том, что мои дед и бабушка пережили депортацию, я узнал всего три года назад от дяди (1952 г.р.). Дед ему рассказал, что до 1937 г. они жили в Приморском крае. На момент переселения деду было 26 лет, а бабушке 18 лет, а с ними было двое мальчиков 3–4-летнего возраста. По пути поезда из Приморья в Узбекскую ССР двое сыновей деда умерли, пришлось хоронить их рядом с железнодорожными путями. Считалось, что им повеселилось похоронить детей в землю. Но конвой не разрешил повесить таблички с именами их детей. Так что эти дети пропали бесследно <...> А было такое, что люди ждали возможности похоронить детей или стариков, а поезд долго

не останавливался. Тела разлагались. Тогда конвоиры выкидывали тела умерших прямо с идущего поезда... Осенью 1937 г. вечером весь поезд выгрузили около 55 развезда Янгиюльского района Узбекской ССР. Вокруг были поля и болота. Никто не помогал [ПМА, муж., 1969 г.р., м.р. Узбекская ССР].

Мой отец — кореец, а мать — калмычка. Оба народа были подвергнуты депортации, только корейцев в 1937 г. отправили с Востока на Запад, а калмыков в 1943 г. — с Запада на Восток. Депортацию пережили бабушки и дедушки. Дед рассказывал, что многие умирали по пути. Но они говорили так: «Значит, так надо было, так случилось». Слова «депортация» они не знали, говорили «переселение». По дороге туда женщины умирали от разрыва мочевого пузыря, так как ехали в общем вагоне. Много детей и стариков умерло. Привезли и выкинули в голой степи [ПМА, муж., 1976 г.р., корейская линия семьи выселена в Казахскую ССР].

Это воспоминания внуков депортированных корейцев. Их становление происходило в период «развитого социализма», в условиях той же монополии КПСС и веры в «расцвет дружбы народов». Они пережили период перестройки и 1990-е гг., эпоху пробуждения этнического самосознания и «возрождения национальной культуры и традиций». Но одновременно они столкнулись с противоречиями в становлении новых независимых государств, первыми этническими конфликтами и кризисами в результате распада СССР.

Вот что содержит память поколения правнуков депортированных, родившихся в 1990-е годы:

По рассказам родителей, прабабушку и прадеда депортировали в 1940-е годы с Дальнего Востока. Родные по линии отца попали в Россию в г. Курган. У отца было корейское имя. По линии мамы все родственники попали в Узбекистан. Везли их в товарном вагоне. Бабушка была тогда маленькой. Им было страшно, непонятно, куда привезли, но они были готовы работать и не боялись рожать детей [ПМА, муж., 1995 г.р., м.р. Узбекистан]. Информации о самом трагическом событии и его последствиях все меньше, ясной оценки сути депортации так и не выработано.

Фактически все поколения корейцев, сохраняя физические маркеры этнической идентичности, этические нормы внутрисемейных отношений, приверженность национальной кухне и некоторым обычаям и традициям, постепенно утрачивали языковые и культурные признаки этнической идентичности. Из моих информантов лишь четыре человека, детство которых прошло в местах компактного проживания депортированных

корейцев, знают корейский язык. Еще семь человек (четверо из второго и трое из третьего поколения) применяют отдельные выражения и слова корейского языка. Представители третьего и четвертого поколения (5 и 6 человек) не говорят по-корейски, лишь один из них начал изучать корейский в воскресной школе. Среди корейцев Екатеринбурга воспроизводится лишь часть традиций и обрядов корейской культуры, например празднуются три основных события в жизни каждого: один год, свадьба и шестидесятилетний юбилей. Однако отмечаются они уже в модернизированной форме, наряду с этими празднуются и другие дни рождения, даты и события жизни. По инициативе общественной организации отмечаются календарные праздники, например Соллаль — Новый год по лунному календарю.

Происходило и «распыление» политической идентичности, связанной с советским гражданством. Возникла необходимость поиска новой идентичности. Корейцам пришлось столкнуться с понятием диаспоры в России и странах СНГ, с задачей определения своего места в иерархии этнических групп и общностей, с разделением населения на титульную и не титульные «нации». Корейцы, оставшиеся в странах СНГ после 1991 г., вынуждены были делать выбор государства пребывания и рассчитывать риски и приобретения при миграции из Средней и Центральной Азии в Россию или Южную Корею. Условия рыночной экономики поставили перед корейцами новые вызовы и задачи адаптации. Изменились социальная и профессиональная структуры общности российских корейцев, произошла экономическая и социальная дифференциация.

«Умалчивание» — норма корейской культуры или признак травмы?

Тема переселения была под запретом, никто никогда об этом не говорил [ПМА, муж., 1942 г.р., м.р. Узбекская ССР].

О тяжести жизни или обидах на советскую власть никто открыто не говорил [ПМА, муж., 1960 г.р., м.р. Казахская ССР].

Наши бабушки и дедушки никогда никому ни на что не жаловались. Работали много. Я никогда не слышал от них слов какой-то озлобленности ни на кого. Никогда никого не кляли, даже Сталина за неправильную политику не ругали [ПМА, муж., 1976 г.р., семья выселена в Астраханскую область].

О гибели в пути двух сыновей, старших братьев моего отца, мама мне тоже не рассказывала. От дяди я узнал, что его мать ему наказывала: «Никому не говори, что у нас было два мальчика». И дядя долго молчал [ПМА, муж., 1969 г.р., м.р. Узбекская ССР].

Это та самая «неудобная» память как серьезная моральная и социально-психологическая проблема и корейцев, и российского общества. Жизнь трех поколений корейцев в условиях советского и постсоветских политических режимов определялась потребностями выживания и адаптации. Большинству из них, занятым в сельском хозяйстве или сфере торговли и питания, было не до понимания сути сталинской политики и смысла пережитого. Задачи выживания оттесняли необходимость рефлексии над собственным положением. Два ряда факторов порождали долговременное молчание. Социально-политические условия жизни в СССР и РФ способствовали воспроизводству страха перед государством [Фан 2011]. Второй ряд факторов связан с культурой. Основой традиционной корейской культуры считается разветвленная система терминов кровного родства в корейском языке. Чрезвычайная значимость семьи и внутрисемейных отношений влияет на механизмы идентификации корейцев — необходимость для каждого систематически определять взаимоотношения с каждым из родственников и свое место в семье как сложной ролевой системе. Информанты подтверждают первостепенное значение семьи и родственных отношений для них. Как правило, мигрируя из стран Азии в Россию, корейцы определяют место поселения там, где ранее уже адаптировались их родственники. Большинство российских корейцев поддерживают тесную связь с родственниками, находящимися в других регионах. «Общение в корейской семье предполагает неперемное “сканирование”, многократную, при каждой новой интеракции, процедуру взаимоидентификации в зависимости от поколения, возраста, пола (мужского или женского, идентичного или различного), линии родства (отцовской или материнской), все эти признаки выстроены в сложную иерархию» [Пягай 2003: 451]. Взгляд на мир в этой культуре также специфичен. Сами корейцы говорят, что корейцы — не этнос, а одна семья. Поэтому для них важнее не выделиться в качестве уникальной личности, но идентифицировать себя как взаимозависимую единицу социальной группы. Умалчивание, замена прямых номинаций косвенными, ограничения в использовании мимики и жестов, запрет на сильное проявление чувств, членение языка на мужскую и женскую подсистемы — все это специфические черты корейского языка и культуры. Существуют правила «умалчивания»: не говорят о том, о чем не принято высказываться. Уклонение от ответа, умалчивание связаны с ожиданием, что собеседник способен на сочувствование, со-думание, понимание невысказанного. Эти смыслы заключаются в корейских концептах «нунчи» (догадливость, умение видеть по глазам, настраиваться в унисон душе другого человека, переключаться на «чтение мыслей») и «чжэн» («зрение души», способность человека к интуитивному зрению

и предчувствию). «Инвариантом всех языковых средств, реализующих установку “чжэн”, является смягчение категоричности, эмпатия» [Пягай 2003: 455]. Необходимо учитывать и ориентацию корейской культуры на нормы послушания и подчинения власти, восходящие к конфуцианству.

Однако традиционная корейская культура эволюционировала. Депортированные корейцы долгое время взаимодействовали с представителями узбекской, казахской, русской и иных культур. Учитывая незнание корейского языка большинством российских корейцев, невозможно говорить о сохранении ими традиционной культуры в неизменности. Ответ на вопрос о степени модернизации традиционной корейской культуры, о восприятии ею ценностей европейской и мировой культуры требует серьезного исследования.

Психологические исследования семей, переживших сталинские репрессии, показывают значение сохранения и передачи памяти семьи для нормального функционирования ее членов в третьем поколении. Отторжение этой памяти связано с более низкими показателями базисных аспектов жизни в поколении внуков. Подтверждается теория М. Боуэна об отрицательном влиянии гибели предков, прерывания вертикальных связей в семье на жизнь поколений. Передача опыта семьи через межпоколенные связи является особенно плодотворной, когда до внуков доходят личностные образцы, нравственные ценности, накопленные в поколениях дедов и переданные через родителей или непосредственно. Такие «семейные ресурсы» становятся ориентиром жизни в кризисной ситуации сегодняшней России для детей и внуков репрессированных [Бейкер, Гиппенрейтер 2005: 449].

Вслед за Дж. Александером под культурной травмой мы будем понимать «культурный процесс» битвы смыслов, конструируемых и порождаемых разными интерпретациями трагического события. Эта работа с болью травмы и терапия негативных истолкований ее причин и следствий является условием и попыткой интеграции в общество и «жертвы» — пострадавшей социальной группы или общности, и «палача» — лиц, ответственных за страдания и гибель людей [Александр 2013]. Важно различать понятия коллективной травмы и культурной травмы. «Коллективная травма — это комплекс психологических ощущений, возникающий у очевидцев или участников <...> трагического события и являющийся общим, но <...> в полной мере не передаваемым опытом <...> переживания данной ситуации. Культурная травма — это нарратив, вписывающий произошедшее событие в совокупность образов, значимых для коллективной идентичности определенного

сообщества. Культурная травма возникает посредством включенности в социальные практики передачи сакрализованного канона культурной памяти, включающего в себя элементы как героического, так и трагического прошлого» [Аникин 2017: 80].

Коллективная память корейцев носит черты непроработанной социальной и культурной травмы. Корейцы традиционно поклоняются предкам, дорожат семейными ценностями. Но о депортации, пережитой предками, говорить было нельзя. Гибель родных и вынужденное молчание разрывают механизмы вертикальной передачи коллективного опыта, нанося удар по преемственности национальной культуры. У части корейцев остались не найденными пропавшие без вести предки. Непохороненные и неоплаканные родные, запретная память, замалчиваемые или отрицаемые события, подавленная боль — все составляет фон для нынешней жизни. Но вытесненное государственной пропагандой прошлое не исчезает, а без ответа на вопросы, что и почему случилось с предками, невозможно определить собственную идентичность. Интервьюируемые нами корейцы в основном рассказывали о событиях, фактах, деталях, но не о чувствах, оценках депортации и отношении к ней. Это объясняется не только их приверженностью установкам предков, но и представлениями о ситуации в России.

Замалчивание — одна из пяти стратегий вытеснения (оправдания) травматического опыта: взаимного зачета вины, экстернализации, пробелов, замалчивания и фальсификации [Ассман 2014: 182]. По мнению А. Ассман, описывающей состояние исторической памяти немцев после Второй мировой войны, молчание имеет две стороны: безмолвное молчание жертв, выражающее бессилие и страх публичного высказывания правды, и молчание преступников, замалчивающих преступление из нежелания принять за него ответственность и демонстрирующих этим их продолжающуюся власть [Ассман 2014: 188]. Государственная политика памяти в нынешней России способствует продолжению «молчания». Молчание как результат отрицания, забвения или целенаправленного вытеснения трагических воспоминаний до сих пор оказывается вынужденным способом переживания депортации и советского «крепостного права». Но возвращение молчания после попытки 1990-х гг. сделать правду публичной свидетельствует о возвращении страха. Официальная риторика необходимости все забыть и простить практикуется сторонниками тех, кто виновен в совершении этой несправедливости. Действует бессознательная и сознательная защита от чувства вины [Адорно 2005: 39].

Тема влияния травматического опыта на жизнь последующих поколений активно разрабатывалась в отношении второго поколения выживших после Холокоста, не имевшего «прямого» опыта смерти и коллективного насилия. Представители культурно-исторической клинической психологии видели у детей выживших те же симптомы травмы, что и у актуально переживших ужасы Холокоста. Для поколения переживших Холокост дети стали способом восстановления семьи и нации и сохранения памяти о прошлом. В сознание детей поневоле внедрялся страх и ощущение обязанности перед родителями: продолжить семью, восстановить связь поколений, «многого достигнуть в жизни, чтобы оправдать страдания ушедших и выживших и отчасти утешить родителей» [Бурлакова 2016: 15]. Для второго поколения были характерны внутренний раскол, дезинтеграция личности, конфликт между переживанием Холокоста как личной, семейной трагедии и переживанием его как национального события, оттеснение собственных переживаний и проблем, заниженная самооценка с проблемами в идентичности, излишняя идентификация с образом жертвы, необходимость сверхуспешности ради восполнения утраты погибших, сверхпривязанность к семье и сверхзависимость от нее. Второе поколение, как правило, добивается успеха, но путем колоссального внутреннего напряжения и отсутствия личностного счастья [Бурлакова 2016]. Разные типы людей реагируют на травматический опыт по-разному. Существуют разные типы переработки травматического опыта, разные стратегии оперирования жизненным опытом. Отсюда значимость вопроса о культурных способах и механизмах трансляции жизненного опыта в воспитании детей.

Опыт людей и этнических групп, переживших депортацию, нельзя приравнивать к опыту людей, переживших Холокост. Однако для нашей темы могут быть полезны исследования такого опыта. Специфика травматического опыта корейцев состоит в том, что смерть близких в процессе транспортировки и на месте высылки была побочным следствием депортации. Но это не умаляет глубины материального и морального ущерба от несправедливого наказания и публичной стигматизации. Для изучения памяти корейцев имеют значение исследования о неоднозначности молчания о травматическом опыте, так как оно препятствует переработке травмы, отрицает прошлое, разрывает преемственность в культуре и трансляции опыта и биографии предков новым поколениям. В актуальной культуре корейцев возникает противоречие между традицией уважения и почитания предков и вынужденным забвением некоторых из них. В ситуации «трудной памяти», не выведенной на свет публичности, под вопросом оказывается многое — моральный выбор, различение добра и зла, вопросы справедливости, права,

понятие нормы коллективной и социальной жизни, участия в политической жизни.

Оборотной стороной молчания корейцев о депортации, на мой взгляд, является установка, которую старшие поколения с конца 1940-х и в 1950-е гг. воспитывали у собственных детей: нужно получить высшее образование и именно в России.

После восьмого класса колхозной корейской школы родители меня отправили в Ташкент учиться в русской школе. Все ученики нашего класса поступили в вузы. Корейцы, депортированные в Узбекистан, Киргизию, Казахстан, если была возможность, уезжали в Россию получать хорошее образование [ПМА, жен., 1950 г.р., м.р. Узбекская ССР].

В Узбекской ССР при поступлении в вузы 80 % мест выделялось для узбекской молодежи, а 20 % — остальным. У корейцев шансов поступить было мало. Поэтому старшие советовали ехать учиться в Россию. Вот корейская молодежь и разъехалась по России [ПМА, муж., 1942 г.р., м.р. Узбекская ССР].

Родительская установка на отъезд детей из «благодатного края» — косвенное признание неудовлетворительности своего социального положения, желание вывести детей из состояния «людей второго сорта», дать им шансы повысить социальный статус. Старшие копили деньги, чтобы отправить детей учиться в вузы в РСФСР. Эта стратегия преодоления последствий депортации использовалась в основном на уровне семейного приспособления к советской жизни. В публичную плоскость эти желания и стремления не переходили.

Обобщая опыт работы с травматическим прошлым в ряде стран мира, Н. Эппле показывает, что в последовательности проработки травмы важны все этапы: «Помнить — Знать — Осудить — Простить» [Эппле 2020: 222]. Важным этапом работы общества над травмой является установление виновных в преступлениях и их ответственности. Чтобы не допустить такой работы российского общества с травмами, государственные ведомства контролируют процессы воспоминания, архивирования данных, исторического образования детей и молодежи, распространения информации о политических репрессиях советского времени. Отсюда направленность государственной политики памяти на вытеснение памяти о реальных событиях сконструированными мифами о благом прошлом, на подмену памяти людей, переживших репрессии, депортации, войны, вариантом истории, сверстанным под конъюнктурные цели и интересы действующей власти. Такая политика памяти препятствует созданию условий для взаимодействия множества нарративов о депортациях.

Избегание «сильных чувств» и оценки последствий депортации

На вопрос о том, как воспринимали родные то, что их незаслуженно депортировали, и как оценивают собственное положение в настоящем, интервьюируемые отвечали так:

Мама не знала, как оценивать советский строй, роль Сталина и XX съезда КПСС, запреты для корейцев ни в это время, ни позже [ПМА, муж., 1943 г.р., м.р. Узбекская ССР].

Родители осознавали себя в том времени <...> Они многое пережили <...> Переселение наша семья воспринимала так, как им объяснили: «Так надо! Это в целях вашей безопасности, могут быть агрессивные акции со стороны Японии на границе». Истинный смысл Постановления о депортации узнали только после 1991 года. Во всем тогда соблюдали секретность. Поэтому корейские семьи приняли это как данность, веря в то, что им с трибун говорили. В моем детстве и в 1960-е годы никто не говорил о недовольстве советской властью. Говорили о трудностях, но не об обидах. Позже, в 1966 году, мама говорила, что в целом корейцам стало жить лучше, конечно, не скажешь спасибо за депортацию, но мы попали в благодатный край [ПМА, жен., 1950 г.р., м.р. Узбекская ССР].

Бабушка была закрытым человеком. Помню, она сидела в своей комнате, расчесывала свои длинные седые волосы старым корейским гребнем. Она никогда не говорила ни о политике, ни о проблемах, ни об обидах на кого-либо. Ни на кого никогда не жаловалась. О запретах и ограничениях, связанных с депортацией корейцев, разговоров не было. Хотя сейчас я понимаю, что были пределы для карьеры корейцев [ПМА, муж., 1960 г.р., м.р. Казахская ССР].

Что это было — незнание того, что произошло, или что-то другое? Для меня важен посыл моих предков: нечего пенять на судьбу, надо жить, двигаться и не винить других. Да, их депортировали незаслуженно, ну и что? Те, кого переселили, переживали, им было обидно, но говорили, что так сложилась судьба [ПМА, муж., 1976 г.р., корейская линия семьи выселена в Казахскую ССР.]

Я не могу осуждать депортацию. Как произошло, почему <...>. В семье не говорилось об этом. И само слово «депортация» не звучало. Отношение было такое: раз случилось, то и случилось [ПМА, муж., 1995 г.р., м.р. Узбекистан].

Лишь однажды прозвучали такие слова: Россия дает возможность жить всем, правда, порой унижая [ПМА, муж., 1942 г.р., м.р. Узбекская ССР].

Молчаливая память не позволяет дать адекватную оценку последствий депортации, положения корейцев в настоящем и перспектив на будущее. Но «забытое» не перестает быть социальной и культурной травмой. Это не только память о прямых физических потерях. Во время переселения у взрослых были изъяты паспорта, что лишало их даже формальных прав советского гражданина. В паспортах ставились особые отметки, отдававшие корейцев в полное подчинение органам власти и милиции, например фиолетовая печать «С правом проживания в Узбекской ССР». Запреты на свободное перемещение, занятие руководящих должностей, поступление в вузы, связанные с военно-промышленным комплексом и государственной тайной — лишь часть практик исключения по отношению к корейцам. В ответ возникало «чувство унижающего исключения» из рядов советских народов. «Люди, репрессированные по этническому признаку, стали стыдиться своей этничности» [Гучинова 2020: 168]. Ярлык «японских шпионов» и преследование населения принимающих республик за контакты с депортированными — признаки стигматизации корейцев, снятой лишь после XX съезда КПСС. Упорный труд почти без отдыха был единственным условием физического выживания и доказательства преданности «партии и правительству». Положение большинства корейцев до 1953–1956 гг. мало чем отличалось от крепостного права.

По окончанию школы в 1959 году я думал поехать в Москву поступать в МФТИ. Но не смог поехать, нам не выдали аттестаты из-за привлечения детей к сельскохозяйственным работам. Их выдали лишь 10 июля. В Узбекистане все дети работали как проклятые: весной на прополке и борьбе с сорняками, летом и осенью на чеканке. Каждый год 15 сентября школа закрывалась, а 15 декабря снова открывалась, в это время дети собирали хлопок. Хлопок — национальная гордость, достояние Узбекистана. А дети по полгода не учились. Но недовольства этим не было, воспринимали это как положенное. Из Москвы шли приказы: «Давай план!» А Правительство Узбекской ССР выпускало постановление о привлечении детей к сезонным работам [ПМА, муж., 1941 г.р., м.р. Узбекская ССР].

Даже сейчас эти факты корейцы не оценивают как дискриминацию.

Смысловые аспекты травмированной памяти

Память о депортации в различных корейских семьях выражается по-разному, кто-то признает травму, но большинство ее отрицает.

Память у нас не трагическая. Мы с родителями никогда не говорили о трагизме ситуации. Никакие запреты и следствия депортации не обсуждались даже на кухне. Всегда были деловые бытовые разговоры: было тяжело, но ничего, справились. И бабушки и дедушки были передовиками производства. Помню с детства, что с 4 часов утра бабушка и дед были на ногах, в 22 часа вечера засыпаешь, а они еще не спят, что-то делают. Но трагизма я не помню. Я считаю себя корейцем, воспринимаю жизнь в позитивном ключе. Я хотел бы, чтобы мои дети и внуки считали себя корейцами [ПМА, муж., 1975, м.р. Астраханская обл.].

По большей части память корейцев трагична. Когда они вспоминают о депортации, они чаще всего говорят: «Мы никогда не жаловались». Это ключевые слова, они означают, что жаловаться-то было на что, но боль и обида подавлялись, замалчивались. Но в подсознании эта трагедия глубоко сидит [ПМА, муж., 1964 г.р., м.р. Южно-Сахалинск].

Любая уникальная биографическая память укоренена в общественной истории. Коллективная память задает индивиду когнитивную сетку координат и определяет его поведение, обеспечивая индивида и общество временными ориентирами: «Откуда мы пришли, куда идем, почему мы сейчас находимся здесь?» [Хальбвакс 2005: 17]. Р. Айерман синтезировал теории индивидуальной и коллективной природы памяти и идентичности. Коллективная память — это процесс и результат коммуникации, обмена и диалога между индивидом и коллективом. Поэтому проработка культурной травмы с помощью новых нарративов о трагических событиях становится восстановлением и перенастройкой коллективной идентичности. Эти нарративы заново интерпретируют прошлое в целях примирения с потребностями настоящего и будущего [Айерман 2016: 46].

Подход Р. Айермана позволяет выявить смысловые аспекты коллективной памяти социальных групп. Память народов содержит социальную и культурную травму, концентрирующую в себе множество аспектов и смыслов. Первый из них — это «травма принудительной неволи или почти полного подчинения воле и прихоти других». Это состояние отсутствия личной и коллективной свободы «травмировало ретроспективно» еще и потомков людей, ограниченных в правах. Дети, наблюдавшие унижение родителей, тоже получают травму. Второй аспект — «утрата идентичности и смысла» [Айерман 2016: 49]. Представители корейской интеллигенции в России находят отличия в языке, культуре, традициях и обычаях между корейцами из Северной и Южной Кореи, из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, из материковой России и Сахалина, а также

между советскими корейцами и российскими. Возникает множество обособленных групп корейцев, обладающих специфической идентичностью. Дисперсное расселение как следствие депортации порождает размывание черт, объединяющих российских корейцев. В. Шнирельман выделил следующие компоненты этнической идентичности: автохтонность, языковая преемственность, культурная преемственность, военная слава древних предков, участие отдаленных предков в создании древних государств, культуртрегерская или цивилизаторская миссия древних предков, биологическая преемственность [Шнирельман 2003: 514]. С точки зрения власти российские корейцы не являются ни автохтонным, ни титульным народом, они не обладают на этой территории «образом славного героического прошлого», необходимым для политических амбиций. Ими во многом утрачена языковая преемственность, так как 90 % российских корейцев не знают родной язык. Детей нарекают русскими, а не корейскими личными именами. Биологическая преемственность преимущественно сохраняется, в некоторой степени существует и культурная преемственность (корейская кухня, отдельные календарные праздники, нормы почитания старших). Травмированная коллективная память также ведет к размыванию этнической идентичности корейцев.

Третьим аспектом памяти большинства опрошенных нами корейцев является частичная декапитализация («обнуление») исторического, культурного, профессионального опыта и достижений предшествующих поколений, а также стремления и готовности критически осмысливать произошедшие с ними события, поскольку существовал негласный запрет власти на рефлексию прошлого. Четвертый аспект трагической памяти корейцев заключается в том, что информация о пребывании предков в местах изгнания в состоянии «крепостного права» у потомков иногда вызывает отторжение, нежелание принимать горькую правду. Возникает страх выражения критических оценок трагическим событиям, склонность к конформизму, лояльности действующей власти, подавление в себе стремления к свободе и любым видам политической активности. Пятый аспект — заполнение неопределенности в коллективной памяти идеологическими штампами советского и постсоветского времени, например тезисом о «равенстве народов СССР» и т.п.

Опыт населения ряда стран, переживших те или иные репрессии [Эппле 2020], показывает, насколько полезно преодоление подобных особенностей памяти путем проработки культурной травмы. Результатом индивидуальной и публичной работы над коллективными травмами становится восприятие ущемленными в прошлом группами себя в качестве равных по социальному и политическому статусу и иным параметрам более много-

численным общностям, формирование у них общегражданской идентичности. Такая проработка осуществляется в процессе рационализации прошлого и детравматизации события, она ограничивает повторяемость прошлого, осуществляя переход от меланхолии к трауру [La Capra 1996: 13–14]. Условием проработки травмы является понимание неконструктивности крайностей абсолютной памяти и абсолютного забвения. П. Рикёр пишет о том, что забывание — одно из условий «хорошей памяти». Поэтому так важно обсуждение идеи глубины забвения и разной оптики конкретных субъектов памяти / забвения. Главная опасность для состояния социальной памяти состоит в «манипулировании разрешенной, навязанной, прославляемой в мемориальных церемониях официальной историей» [Рикёр 2004: 619]. Работу памяти, или работу скорби, разными способами должно осуществить общество, не позволяя официальной идеологии монополизировать эту работу и превратить коллективную память о прошлом в объект доминирующей идеологии. Важна «политика справедливой памяти», включающая оценку политической и моральной виновности, установление ответственности лиц за преступные решения и действия, и только после этого — прощение.

Нынешнее социальное положение и самочувствие, степень устойчивости этнической идентичности и характер включенности российских корейцев в национальную идентичность определяются комплексом взаимосвязанных политических, экономических, демографических, социальных, культурных, психологических и моральных последствий депортации. Государственная национальная политика советского и постсоветского времени оказывает определяющее влияние на процессы ассимиляции и утраты этнической идентичности данной социальной группой. Обобщение полученных эмпирических данных приводит к выводу о том, что «умалчивание» о факте депортации и избегание оценок ее последствий объясняется наложением нескольких факторов. В определенной мере воспроизводятся традиции корейской культуры — этика семейных взаимоотношений, правила «умалчивания» и др. Например, норме послушания старшим и их мнению следует часть информантов среднего поколения, повторяя вслед за старшими клише советской пропаганды о наличии в СССР «советского народа как новой исторической интернациональной общности людей». Однако оценка текущих событий и явлений у данного поколения уже иная. Для успешной адаптации к современным российским условиям корейцы используют стратегию, основанную на отсутствии амбиций в публичной сфере, но за счет поддержания устойчивых родственных и семейных связей, которые часто становятся основой семейного бизнеса. Однако экономически

успешная адаптация части корейских семей достигается за счет социальной дифференциации и неравенства, а также за счет сужения спектра разного рода возможностей и свобод — политических, публичных, творческих, профессионального развития. Многолетние ограничения их труда работой в сельском хозяйстве, общественном питании и торговле привели к уменьшению сфер и видов доступной им профессиональной деятельности, например к вынужденному сосредоточению на «салатном бизнесе». Гибель нарождавшейся корейской интеллигенции, партийных и военных кадров, ликвидация корейских школ, педагогического института и училища на Дальнем Востоке, ограничение свободы перемещения, выбора места жительства, учебы, запреты на профессии — все репрессии прошлого ускорили процесс размывания и утраты традиционной национальной культуры и этнической идентичности.

Исследование позволило выделить следующие особенности коллективной памяти российских корейцев. Консервация установки на отеснение памяти о депортации в неактуальные сферы жизни вызывает обесценивание трагического опыта предков. Не выражены динамика, изменения в содержательной оценке депортации и ее последствий от предыдущих к последующим поколениям российских корейцев. Недостаточно развита и слабо представлена в публичном поле рефлексия над степенью влияния депортации на историю и развитие общности корейцев в России. «Умалчивание» о депортации является признаком социальной и культурной травмы и определяется совокупностью политических условий жизни в постсоветской России, а также действием сохраняющихся норм и правил корейской культуры. Мною выделены такие смысловые аспекты травмированной памяти российских корейцев: публично не выражаемое, но устойчивое ощущение отсутствия коллективной свободы; постепенная диффузия идентичности; декапитализация опыта предшествующих поколений; отторжение трагического опыта и информации о положении предков в качестве «изгоев», «крепостных» в прошлом; избегание критических оценок действий власти в прошлом и настоящем, преобладание конформизма в социальном и политическом поведении; использование советских или современных официальных идеологических штампов для оценки депортации и ее последствий.

Проработка культурной травмы должна осуществляться и людьми, непосредственно не пережившими какое-либо трагическое событие. Погружение в драму тех или иных преступлений влечет за собой моральное просветление и прощение виновных. Для этого нужно, чтобы в процесс сопереживания пострадавшим включились многие люди. Также необходимо понимание того, что «зло» при определенных условиях может возникнуть

в любой нации и в любом человеке. «Зло находится внутри каждого, и от него несвободно ни одно общество. Если мы сами способны оказаться как жертвами, так и преступниками, тогда никто из нас не может на законных основаниях отстраниться и от страданий первых, и от вины последних» [Alexander 2016: 13–14]. Это пробуждение морального сознания и опыт катарсиса при публичном обсуждении или переживании нарратива о трагическом событии дают нам шанс измениться и предотвратить повторение трагедий в будущем.

Благодарности

Исследование проводится при поддержке Программы фундаментальных и прикладных научных исследований «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссийской идентичности», 2020–2022 гг. (проект «Общественное согласие в России и конструирование гражданской идентичности как способ его достижения», рук. академик РАН В.Н. Руденко).

Список сокращений

ПМА — полевые материалы автора по проекту «Общественное согласие в России и конструирование гражданской идентичности как способ ее достижения», собранные в Екатеринбурге в 2020 г.

Источники

- Бугай Н.Ф. Российские корейцы: новый поворот истории. 90-е годы. М.: Русское слово — РС, 2000. 112 с.
- Гентшике В.Л. Некоторые аспекты внутренних этнических депортаций на примере немецкого и корейского населения СССР // Начальный период Великой Отечественной войны и депортация российских немцев: взгляды и оценки через 70 лет: Материалы 3-й междунар. науч.-практ. конф. Саратов, 26–28 августа 2011 г. М.: МСНК-пресс, 2011. С. 136–144.
- Кан А. Книга белого дня (литература корейцев СНГ в поисках утраченной идентичности). Тараз: Сенім, 2010. <<https://koryo-saram.ru/kan-aleksandr-kniga-belogo-dnya-literatura-korejtsev-s-n-g-v-poiskah-utrachennoj-identichnosti/>>.
- Ким Г.Н. Избранные труды по корееведению. Тараз; Алматы: Сенім, 2013. 776 с.
- Пак Б.Д., Бугай Н.Ф. 140 лет в России. Очерк истории российских корейцев. М.: Институт востоковедения РАН; Общероссийское объединение корейцев, 2004. 462 с.
- Полян П. Не по своей воле: история и география принудительных миграций. М.: ОГИ, 2001. 329 с. <https://imwerden.de/pdf/polyan_ne_po_svoej_vole_2001.pdf>.
- Яковлев А.Н. (ред.), Поболь Н.Л., Полян П.М. (сост.). Сталинские депортации (1928–1953). М.: МФД; Материк, 2005. 904 с.

Хан В.С. Коре сарам: кто мы? (Очерки истории корейцев). 3-е изд., перераб. Бишкек: АРХИ, 2009. 208 с.

Цой Б. (ред.). Энциклопедия корейцев России. М.: РАЕН, 2003. 1440 с.

Библиография

Адорно Т. Что значит «проработка прошлого» // Неприкосновенный запас. 2005. № 2. С. 36–45. <<https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/chtotznachit-prorabotka-proshlogo.html>>.

Айерман Р. Культурная травма и коллективная память / Пер. с англ. Н. Поселягина // Новое литературное обозрение. 2016. № 5. С. 40–67.

Александр Дж. Смыслы социальной жизни: культурсоциология / Пер. с англ. Г.К. Ольховикова; под ред. Д.Ю. Куракина. М.: Праксис, 2013. 640 с.

Аникин Д.А., Головашина О.В. Травмы культурной памяти: концептуальный анализ и методологические основания исследования // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 425. С. 78–84. doi: 10.17223/15617793/425/10.

Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика / Пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: НЛЮ, 2014. 323 с.

Байбурин А.К. К предыстории советского паспорта (1917–1932) // Неприкосновенный запас. 2009. № 2. С. 140–154.

Бейкер К., Гиппенрейтер Ю.Б. Влияние сталинских репрессий конца 30-х годов на жизнь семей в трех поколениях // Теория семейных систем Мюррея Боуэна. М.: Когито-Центр, 2005. С. 419–452.

Борисов А.А., Василенко Ю.В. Иммигрантские сообщества в России: модели интеграции. Екатеринбург: УрО РАН, 2007. 286 с.

Бурлакова Н.С. Психодинамика передачи травматического опыта от поколения к поколению в контексте культурно-исторической клинической психологии // Психологические исследования. 2016. Т. 9. № 45. С. 9–17.

Гучинова Э.-Б. Кто старое помянет, кто старое забудет: о стиле переживания калмыками депортационной травмы // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. Т. 5. № 2. С. 90–112.

Гучинова Э.-Б. Этническая идентичность как стигма: калмыки в депортации (1943–1956 гг.) // Антропологический форум. 2020. № 47. С. 154–180. doi: 10/31250/1815-8870-2020-16-47-154-180.

Земсков В.Н. Депортации населения. Спецпоселенцы и ссыльные. Заключение // Население России в XX веке. М.: РОССПЭН, 2001. Т. 2. С. 166–196.

Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930–1960. М.: Наука, 2005. 306 с.

Малахов В.С. Расовый образ мыслей после расизма: случай России на общеевропейском фоне // Деминцева Е. (сост., отв. ред.). Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими мы их увидели...: Сб. статей. М.: НЛЮ, 2013. С. 115–138.

- Паин Э.А., Федюнин С.Ю. Проблемы гражданской нации в России и на Западе: общее и особенное // Политическая концептология. 2018. № 1. С. 171–191. doi: 10.23683/2218-5518.2018.1.192243.
- Пягай Н.В. Антропоцентризм в языке, сознании и поведении корейцев и русских // Цой Б. (ред.). Энциклопедия корейцев России. М.: РАЕН, 2003. С. 440–456.
- Рикёр П. Память, история, забвение / Пер. с фр. М.: Изд-во гуман. лит., 2004. 728 с.
- Сokolовский С. Прошлое в настоящем российской антропологии // Елфимов А.Л. (ред., сост.). Антропологические традиции: стили, стереотипы, парадигмы: Сб. статей. М.: НЛЮ, 2012. С. 78–108.
- Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41). С. 8–27. <<http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html>>.
- Фан И.Б. Апатия вместо жажды. Свобода и справедливость в жизни российского гражданина // Научный ежегодник ИФиП УрО РАН. 2011. Вып. 11. С. 270–283.
- Шнирельман В.А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: Академкнига, 2003. 592 с.
- Шнирельман В. Советский парадокс: расизм в стране «дружбы народов» // Деминцева Е. (сост., отв. ред.). Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими мы их увидели...: Сб. статей. М.: НЛЮ, 2013. С. 97–114.
- Эппле Н.В. Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах. М.: НЛЮ, 2020. 321 с.
- Alexander Ch.J. Culture Trauma, Morality and Solidarity: The Social Construction of “Holocaust” and Other Mass Murders // Thesis Eleven. 2016. Vol. 132. No. 1. P. 3–16.
- La Capra D. Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996. 248 p.

Features of the Collective Memory of Russian Koreans: Trauma of Deportation

Irina Fan

Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of Russian Academy of Sciences
16 Sofyi Kovalevskoy Str., Yekaterinburg, Russia
Irina-fan@yandex.ru

The article is devoted to the study of the peculiarities of the collective memory of Russian Koreans about the deportation of 1937. The author's goal is a meaningful analysis of the semantic and socio-psychological aspects of the memory of deportation among different generations of Koreans, the nature of their experience of historical

events, the degree of reflection, as well as the influence of memory on their social well-being and definition of identity. The methodological basis of the research is the theory of cultural trauma of Alexander, the conception of collective memory of Eyerman, the historical memory of Assman, and the structure of ethnic identity of Shnirelman. The method of empirical research is an in-depth biographical interview. Results: features of the collective memory of Russian Koreans were revealed; semantic aspects of the memory of deportation among different generations of Koreans are highlighted: the trauma of a lack of freedom; loss of identity; the de-capitalization of the ancestral experience; a tendency towards conformism and loyalty to the current government; avoidance of critical assessments of deportation and its consequences. The necessity of a comprehensive study of social and cultural trauma by the Korean community is substantiated. The article is based on field materials—interviews with representatives of three generations of Russian Koreans, conducted by the author in 2020 in Yekaterinburg.

Keywords: Russian Koreans, deportation, collective memory, social and cultural trauma, identity, state (national) memory policy.

Acknowledgements

The study is supported by the Program of Fundamental and Applied Scientific Research "Ethnocultural Diversity of Russian Society and Strengthening the All-Russian Identity", 2020–2022 (project "Public Consent in Russia and the Construction of Civic Identity as a Way to Achieve It" headed by V. N. Rudenko, Russian Academy of Sciences).

References

- Adorno T., 'The Meaning of Working through the Past', Adorno T., *Critical Models: Interventions and Catchwords* / Henry Pickford (trans.). New York: Columbia University Press, 2005, pp. 89–103.
- Alexander J. C., *The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology*. New York: Oxford University Press, 2003, 296 pp.
- Alexander J. C., 'Culture Trauma, Morality and Solidarity: The Social Construction of "Holocaust" and Other Mass Murders', *Thesis Eleven*, 2016, vol. 132, no. 1, pp. 3–16.
- Alexander J. C., Eyerman R., Giesen B., Smelser N. J., Sztompka P., *Cultural Trauma and Collective Identity*. Berkeley; Los Angeles; London: Univ. of California Press, 2004, 327 pp.
- Anikin D. A., Golovashina O. V., 'Travmy kulturnoy pamyati: kontseptualnyy analiz i metodologicheskie osnovaniya issledovaniya' [Traumas of Cultural Memory: Conceptual Analysis and Methodological Foundations of the Study], *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2017, no. 425, pp. 78–84. doi: 10.17223/15617793/425/10. (In Russian).

- Assmann A., *Dlinnaya ten proshlogo. Memorialnaya kultura i istoricheskaya politika* [Long Shadow of the Past: Memorial Culture and Historical Politics]. Moscow: NLO, 2014, 328 p. (In Russian).
- Baiburin A. K., 'K predystorii sovetskogo pasporta (1917–1932)' [Towards the Prehistory of the Soviet Passport (1917–1932)], *Neprikosnovennyy zapas*, 2009, no. 2. pp. 140–154. (In Russian).
- Beyker K., Gippenreyter Yu. B., 'Vliyanie stalinskikh repressiy kontsa 30-kh godov na zhizn semey v trekh pokoleniyakh' [The Impact of the Stalinist Repressions of the Late 30s on the Life of Families in Three Generations], *Teoriya semeynykh sistem Myurreya Bouena* [Murray Bowen's Family System Theory]. Moscow: Kogito-Centr, 2005. pp. 419–452. (In Russian).
- Borisov A. A., Vasilenko Y. V., *Immigrantskie soobshchestva v Rossii: modeli integratsii* [Immigrant Communities in Russia: Models of Integration]. Yekaterinburg: Ural Branch of Russian Academy of Sciences, 2007. 286 pp. (In Russian).
- Burlakova N. S., 'Psikhodinamika peredachi travmaticheskogo opyta ot pokoleniya k pokoleniyu v kontekste kulturno-istoricheskoy klinicheskoy psikhologii' [Psychodynamics of the Transmission of Traumatic Experience from Generation to Generation in the Context of Cultural-historical Clinical Psychology], *Psikhologicheskie issledovaniya*, 2016, vol. 9, no. 45, pp. 9–17 (In Russian).
- Epple N. V., *Neudobnoe proshloe. Pamyat o gosudarstvennykh prestupleniyakh v Rossii i drugikh stranakh* [Inconvenient Past. Memory of State Crimes in Russia and Other Countries], Moscow: NLO, 2020, 321 pp. (In Russian).
- Eyerman R., 'Cultural Trauma and Collective Memory', Eyerman R., *Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American Identity*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 202, pp. 1–10.
- Fan I. B., 'Apatiya vmesto zhazhdy. Svoboda i spravedlivost v zhizni rossiyskogo grazhdanina' [Apathy instead of Thirst. Freedom and Justice in the Life of a Russian Citizen], *Nauchnyy ezhegodnik IFiP UrO RAN*, 2011, no. 11, pp. 270–283. (In Russian).
- Guchinova E.-B., 'Kto staroe pomyanet, kto staroe zabudet: o stile perezhivaniya kalmykami deportatsionnoy travmy' [Who Will Remember the Old, Who Will Forget the Old: About the Style of Kalmyks' Experience of Deportation Trauma], *Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii* [Journal of Sociology and Social Anthropology], 2002, vol. 5, no. 2, pp. 90–112. (In Russian).
- Guchinova E.-B., 'Etnicheskaya identichnost kak stigma: kalmyki v deportatsii (1943–1956 gg.)' [Ethnic Identity as Stigma: Kalmyks in Deportation (1943–1956)], *Antropologicheskij forum*, 2020, no. 47, pp. 154–180. doi: 10/31250/1815-8870-2020-16-47-154-180. (In Russian).
- Halbwachs M., *Kollektivnaya i istoricheskaya pamyat* [Collective and Historical Memory], *Neprikosnovennyy zapas*, 2005, no. 2–3 (40–41), pp. 8–27. <<http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html>> (In Russian).
- La Capra D., *Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996, 248 pp.
- Malahov V. S., 'Rasovyy obraz mysley posle rasizma: sluchay Rossii na obshcheevropeyskom fone' [Racial Thinking after Racism: The Case of Russia

- against a Pan-European Background], Demintseva E. (ed.), *Rasizm, ksenofobiya, diskriminatsiya. Kakimi my ikh uvideli...* [Racism, Xenophobia, Discrimination. How We Saw Them...]: A collection of articles. Moscow: NLO, 2013, pp. 115–138. (In Russian).
- Pain E. A., Fedyunin S. J., ‘Problemy grazhdanskoj natsii v Rossii i na Zapade: obshchee i osobennoe’ [The Problems of the Civil Nation in Russia and in the West: General and Special], *Politicheskaya kontseptologiya*, 2018, no. 1, pp. 171–191. doi: 10.23683/2218-5518.2018.1.192243. (In Russian).
- Pyagaj N. V., ‘Antropotsentrizm v yazyke, soznanii i povedenii koreytssev i rus-skikh’ [Anthropocentrism in the Language, Consciousness and Behavior of Koreans and Russians], Coxa B. (ed.), *Entsiklopediya koreytssev Rossii* [Encyclopedia of Koreans of Russia]. Moscow: RAEN, 2003, pp. 440–456. (In Russian).
- Ricœur P., *La mémoire, l’histoire, l’oubli*. Paris: Éditions du Seuil, 2003, 736 pp.
- Sokolovskiy S. ‘Proshloe v nastoyashchem rossiyskoj antropologii’ [The Past in the Present of Russian Anthropology], Elfimov A. L. (ed.), *Antropologicheskie traditsii: stili, stereotipy, paradigmy* [Anthropological Traditions: Styles, Stereotypes, Paradigms]: A collection of articles. Moscow: NLO, 2012, pp. 78–108. (In Russian).
- Shnirelman V. A., *Voyny pamyati: mify, identichnost i politika v Zakavkazye* [Memory Wars: Myths, Identity and Politics in Transcaucasia]. Moscow: Akademkniga, 2003, 592 pp. (In Russian).
- Shnirelman V. A., ‘Sovetskiy paradoks: rasizm v strane “druzhyby narodov”’ [Soviet Paradox: Racism in the Land of “Friendship of Peoples”], Demintseva E. (ed.), *Rasizm, ksenofobiya, diskriminatsiya. Kakimi my ikh uvideli...* [Racism, Xenophobia, Discrimination. How We Saw Them...]: A collection of articles. Moscow: NLO, 2013, pp. 97–114.
- Zemskov V. N., ‘Deportatsii naseleniya. Spetsposelentsy i ssylnye. Zaklyuchennyye’ [Deportation of the Population. Special Settlers and Exiles. Prisoners], *Naselenie Rossii v XX veke* [Population of Russia in the 20th Century]. Moscow: ROSSPEN, 2001, vol. 2, pp. 166–196. (In Russian).
- Zemskov V. N., *Spetsposelentsy v SSSR. 1930–1960* [Special Settlers in the USSR. 1930–1960]. Moscow: Nauka, 2005, 306 pp.